

ТРУБАЧЕВ О. Н.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЭТНОГЕНЕЗ СЛАВЯН

(Продолжение)

Нет ничего удивительного в том, что исследование особо сложной проблемы, вынесенной нами в заглавие, в наше время синтеза наук протекает в духе острой дискуссии и пересмотра очень многого из того, что сделано предшественниками. Тем выше наша благодарность классикам славяноведения — именно тем из них, с которыми пришлось коренным образом разойтись по основным положениям, потому что, перечитывая их труды, мы встречаем мысли, покоряющие нас глубиной и верностью видения именно в современных аспектах науки: «...не существует народа, происхождение и генезис которого удалось бы в достаточной степени выяснить на основании непосредственно сохранившихся исторических источников» [1, с. 5]. «...Этнографические факты констатируют, что уже в „первобытных“ условиях жизни и даже при очень редкой заселенности взаимное перекрещивание культурных влияний было очень сильным либо благодаря интенсивному обмену культурными ценностями посредством примитивной, но порой удивительно интенсивной меновой торговли, либо благодаря постоянным войнам, приводившим к обмену женщинами...» [2, с. 13].

Этими высказываниями польских зачинателей науки об этногенезе славян я хотел бы продолжить свое рассмотрение проблемы, начатое в журнале «Вопросы языкознания» [3, 4]. Со времени написания опубликованной работы прошли два года, которые принесли новую литературу и новую пищу для размышлений. Состоялся IX Международный съезд славистов в Киеве (сентябрь 1983 г.). Думаю, будет естественно, если в нижеследующем изложении я попытаюсь отразить некоторые доклады к этому съезду, дискуссионный обмен мнениями на самом съезде, в частности — на круглом столе по этногенезу славян, и даже — наиболее интересные места из переписки с друзьями. Но сначала напомним очень кратко положения этой своей предыдущей работы. В ней обращалось внимание на бесспорное древнее знакомство славян с (Средним) Дунаем, на методологическую уязвимость традиционных разысканий о прародине славян, под которой в них неоправданно понималось первоначально ограниченное стабильное пространство, будто бы обязательно свободное от других этносов, первоначально бездиалектное; самоограничение исследователей внутренней реконструкцией приводило к воссозданию «непротиворечивой» модели праязыка, по-видимому, весьма отдаленной от реального, некогда живого праславянского языка с внутренним диалектным членением и собственными индоевропейскими истоками, что весьма затемнялось разнообразными балто-славянскими теориями, в том числе крайней из них, по которой праславянская языковая модель производна от балтийской. Широкое понимание сложного пути праславянского не совместимо с этой концепцией, и, кажется, только оно обеспечивает адекватное рассмотрение динамичных, самобытных судеб древних носителей славянских, балтийских, а также других индоевропейских диалектов, что и было изложено нами кратко, но на конкретных данных этимологий, изоглосс (балто-фракийских, славяно-италийских, славяно-иллирийских, славяно-кельтских, лигурийско-балтийских, славяно-балтийских). В проблему праславянского ареала и лингвоэтногенеза нами намеренно был включен вопрос о праиндоевропейском ареале с характерной для послед-

него древней гидронимией. Речь шла о Центральной Европе и бассейне Среднего Дуная и в одном, и в другом случае. Размытые границы и сильные ранние иррадиации в сторону периферий признавались нами как характерные особенности древнего языкового и этнического ареала славян в Европе.

Индоевропейские истоки праславянского языка и этногенеза

В нынешней части работы из всего этого комплекса достаточно актуальных вопросов я намерен выделить наиболее общий и актуальный. Таким является (в чем, я думаю, со мной согласятся) вопрос об индоевропейских истоках праславянского языка и славянского этногенеза. Речь идет, таким образом, об истории языка и — через его посредство — об истории носителей языка. Известно, что применительно к дальним эпохам в этом вопросе основная «тяжесть доказательства» возлагается на языковедение; это признается не только лингвистами и, между прочим, не только относительно дальних эпох, так, например, замеченная диспропорция между реконструируемой развитой праславянской терминологией (и, без сомнения, стоявшей за ней сложной социальной организацией и культурой) и примитивными представлениями письменной истории времен конца античности и раннего средневековья заставляет также современных историков решительно отдать предпочтение косвенным (реконструированным) данным языковедения перед прямыми, но скудными или даже превратными, пристрастными данными из исторических источников [5].

Свидетельства археологии

Такая глубоко историческая дисциплина, как археология, тоже далеко не всегда дает однозначные ответы. Ср. тот факт, что общей, единой индоевропейской археологической культуры не существовало [6; 7, с. 87]. По мнению ряда археологов, не существует, оказывается, и единой достоверно славянской материальной культуры, которая была бы древнее VI в. н. э., когда появляются памятники так называемого пражского типа [8; 9]. Пессимистично заключение археологии относительно непрерывной культурной преемственности, вернее — ее отсутствия в Карпатско-Дунайской котловине, поскольку, оказывается, уже для VIII—IX вв. не могут называть в этой области ни одной культуры, которая бы уходила корнями в римскую эпоху [10]. Есть и противоречивые суждения, исходящие, к тому же, от авторитетов. Так, сторонников теории балто-славянского единства (которых, правда, сейчас осталось не так много) должно огорчать заявление такого археолога, как Костшевский, что «с археологической точки зрения нахождение такой культуры, которая могла бы представлять еще не разделенных предков балтов и славян, до сих пор невозможно, и, если бы достаточно было опереться только на исторические данные, то нужно бы было признать, что настоящей эпохи балто-славянской языковой общности никогда не существовало» [цит. по 11]. Впрочем, приверженцев этой теории может утешить противоположное мнение другого археолога — В. Хенселя, который выступил на I Международном съезде по славянской археологии с докладом «Балто-славянская культурная археологическая общность», где он прямо утверждает, что «...археологические источники не противоречат возможности балто-славянской общности», и даже датирует эту общность временем с 1800 по 1200 гг. до н. э., видя в ней часть ареала шнуrowой керамики [12].

Очевидно, не следует спешить с общими выводами на базе археологических свидетельств, во всяком случае не стоит толковать их прямолинейно, и это пожелание мы просили бы расценивать как проявление нашей оппозиции против всякой прямолинейности в целом (ср. об этом также ниже). Археология добилась огромных успехов, и несправедливо говорить, что

ее материалы немые; напротив, они слишком многозначны. Обычно говорят, что археология превосходит лингвистику точностью датировок, но это верно далеко не всегда, и сами археологи признают, что основой их датировок все-таки служит не столько стратиграфия (залегание объекта в определенных слоях, куда он мог попасть в принципе и случайно), а типология формы и материала, т. е. та же относительная хронология, что и в лингвистике. Абсолютно точных дат ждут от радиоуглеродного анализа, но и их абсолютность также признается нередко спорной. Наконец, знамением современной науки является и то, что в археологии тоже практически заговорили о «диалектологии» в смысле неоднородности древних культур, и как раз в этом последнем пункте сказывается наиболее плодотворно обмен идеями между современным языкознанием и современной археологией.

«Когда появился праславянский язык?»

Именно поэтому, например, вопрос «когда появился праславянский язык?» следует признать некорректным, на него никогда не сможет точно и однозначно ответить наша наука, как бы ни уточнялись ее методы (неслучайно, и на киевском съезде славистов — в докладе В. К. Журавлева — вновь говорилось о нелингвистическом характере абсолютной хронологии, а прогресс лингвистических знаний связывался с относительной хронологией как отражающей внутренние взаимосвязи). Не буду говорить об этом подробно, но всякие утверждения об обособлении праславянского с точностью до века или до года (например, с 500 г. до н. э.), с моей точки зрения, представляются беспредметными. Подобной «точности» ответа, в сущности — мнимой, не надо требовать от нашей науки. Ссылки на опыт археологов в указанном выше смысле тоже не вполне правомерны. Археологи, как уже сказано, сами оперируют типологической классификацией и хронологией, а их абсолютная хронология производна от типологии. Правда, когда я высказал это мнение на уже упоминавшемся круглом столе по этногенезу славян (Киев, 12 сент. 1983 г.), выступивший затем археолог В. В. Седов возразил, что археологические датировки достигают большой степени точности и бесспорности; для примера он сослался на абсолютные датировки зарубинецкой культуры, и все же думается, что значительное количество археологических датировок, подаваемых как абсолютные, сохраняет спорность. Попутно замечу, что не обоснованы упования на лексикостатистику Сводеша и его продолжателей, оперирующую худым списком из 200 или 100 основных слов и совершенно не доказанным тезисом о равномерности их убывания во всех языках, на чем построены вычисления лексикостатистикой дат «распада» праязыков. Языки и их лексика развиваются неравномерно, в этом их самобытность и прелесть. И все же жадный интерес — особенно молодых — читателей и слушателей (как на минувшем съезде), которые уверены, что «начало праславянского языка будет найдено», вынуждает нас возвращаться к рассмотрению вопроса «когда появился праславянский язык?».

С другой стороны, я заметил, что всякое принципиальное углубление славянской языковой хронологии, акцентирование индоевропейских истоков праславянского конфузита и опытных, и молодых лингвистов, привыкших думать иначе. К сожалению, умами многих исследователей еще владеет психология привычки поздно датировать все собственно славянское в языке и культуре. Этой психологии отдают дань и некоторые участники киевского съезда славистов. Например, словацкие археологи Б. Хроповский и П. Шальковский явно не сочувствуют попыткам «искать славян в глубокой древности» [13]. Для югославского лингвиста Д. Брозовича праславянский «моложе других праязыков» [14]. В дискуссионном выступлении В. Н. Чекмана был выдвинут тезис о праславянском как новом, недавно родившемся языке; в письменном сообщении Г. Лиминга (Великобритания) «Некоторые проблемы сравнительной славянской лек-

сикологии» праславянский тоже фигурирует «не как прямой наследник (индоевропейского. — Т. О.), а как совершенно новое целое» [15].

Ф. Копечный, ознакомившись с моим «Языкознанием и этногенезом славян» [3, 4], писал мне уже трижды; я позволю себе процитировать отдельные места из его письма от 10 июля 1983 г. Он называет это чтение волнующим, однако делится со мной своими несогласиями: «Вряд ли можно говорить в III тысячелетии до н. э. или даже еще раньше о славянах, германцах, балтах и т. п.; но я знаю, что Вы под этими названиями понимаете их предков. Для меня славяне и праславянский начинается монофтонгизацией дифтонгов, т. е. — скажем — началом VII ст. н. э.». Ясно, что мы с уважаемым Францем Францевичем видим по-разному некоторые вещи, причем устами Ф. Копечного говорит лингвист *starej daty*, как сказали бы поляки. Я вообще не считаю возможным ставить вопрос о появлении славянского в зависимость от такой фонетической особенности, как монофтонгизация, хотя сам тоже занимаюсь реконструкцией праславянского языка эпохи проведенной монофтонгизации дифтонгов в нашем Этимологическом словаре славянских языков. Однако для меня это лишь удобная форма, наиболее близкая к ранней письменной фиксации, но не точка отсчета. Иначе, рассуждая логично, мы, пожалуй, должны будем снова перестать называть чешский язык славянским с того момента, как в нем «опять» дифтонгизировались монофтонги в определенных условиях. Этот пример показывает нам относительность якобы строгих фонетических критериев, помогает понять, что методика, преувеличенно опирающаяся на эти критерии, может оказаться недостаточно тонкой в вопросах лингво- и этногенеза, для которых требуются более широкие и гибкие категории и допущения (последнее касается в немалой степени и терминологического содержания этнонимов, традиционно употребляемых в этногенетических исследованиях). Когда я огласил в устном докладе на съезде в Киеве слова Ф. Копечного и свои мысли по этому поводу, то во время обсуждения мне возразили, что Ф. Копечный «наверное, так не думал», впрочем, едва ли я понял Ф. Копечного менее точно, чем выступавший дискуссиант (Г. А. Хабургаев), который в своем выступлении явно преувеличил возможности «стадиальной» концепции вхождения разных этнических компонентов, прежде якобы не бывших, а затем ставших праславянами.

Имеет место определенная недооценка также славянской культурной хронологии. Возвращаясь к славистическому съезду, приведу еще один пример. Ш. Ондруш (ЧССР), выступая на обсуждении докладов, говорил о большом славянском влиянии на балтов в терминологии торговли, ср. литов. *tuŕgus* «базар» < слав. **tŕgъ*. В ответ на это Вяч. В. Иванов счел возможным высказать сомнения в существовании торговли в праславянскую эпоху вообще. Неверие в возможность древнего обмена, конечно, неоправданно и противоречит данным истории древней культуры, о которых на этот счет хорошо сказано в нашей вводной цитате из крупнейшего славянского этнолога К. Мошинского [2, с. 13].

Углубляя, удревяя внешнюю и внутреннюю историю праславянского, мы пересматриваем разные аспекты славянско-неславянских отношений, понимаем необходимость разрабатывать их стратиграфию. При этом не все отношения оказываются релевантными в плане этногенеза славян. Так, мы говорим в этом плане положительно о славянско-италийских отношениях (см. о них кратко в предыдущих частях работы), тогда как, скажем, славянско-восточнороманские отношения можно обозначить как постэтногенетические. Определить в этих терминах балто-славянские отношения, т. е. решить, релевантны ли они для славянского этногенеза или, скорее, постэтногенетичны или, возможно, парэтногенетичны (в смысле независимого параллельного развития языков и этносов) — в этом суть балто-славянской проблемы, одной из центральных также на IX Международном съезде славистов. Теорию балто-славянского единства на съезде продолжал отстаивать Ф. Славский. Однако эта теория явно не выдерживает напора фактов, говорящих о самобытности славянского языкового развития. В дискуссиях со всей серьезностью указывалось, что

палатализация согласных, столь характерная для славянского, протекает в балтийском иначе или отсутствует там совсем (З. Зинквичюс), эволюция долгих гласных осуществлялась в балтийском и славянском в противоположных направлениях (Э. Станкевич, США). Как я уже говорил в другом месте, несходным путем шла в них сатемизация индоевропейских палатальных согласных. А. Ванагас в своем докладе показал, что со стороны гидронимического анализа нет оснований для сохранения положения о балто-славянском языковом единстве [16].

Из числа сторонников известной теории развития славянского из балтийских диалектов упомяну В. Мажюлиса, который в выступлении на круглом столе по этногенезу сказал, что «праславянский резко повернул по небалтийскому эволюционному пути», но сама идея «поворота» и имплицуруемая ею предшествующая эволюция будто бы по балтийскому пути представляются нам недоказанными. Весьма оживленным и интересным был обмен мнениями на съезде и в предсъездовских публикациях между В. В. Мартыновым и Ю. В. Откупщиковым. Если оставить в стороне чисто полемическое утверждение Ю. В. Откупщикова в дискуссии, что «славянский относится к группе балтийских языков», то нужно отметить его серьезную критику теории ингредиентов (праславянский = протобалтийский + италийский) в докладе В. В. Мартынова [17]. Ю. В. Откупщиков объективно констатирует большое количество славянско-индоевропейских изоглоссов, не известных балтийскому и заставляющих признать праславянский самобытным индоевропейским языком [18].

В целом съезд славистов в Киеве продемонстрировал взлет (В. Хенсель, выступление на круглом столе по этногенезу: «genesans») научных интересов к вопросам о времени и месте формирования славянского языка и этноса, он дал новые перспективы взаимообогащения и с б л и ж е н и я традиционно разных концепций. Например, В. В. Мартынов в своих устных выступлениях отметил актуальность нынешних поисков южных границ праславянского ареала, допуская их панионскую (придунайскую) локализацию, в частности — славяно-кельтские контакты именно на этой территории. Это не мешало, правда, другим ученым остаться при привычных убеждениях (В. Маньчак, выступление на круглом столе: «...мне трудно поверить в придунайскую прародину славян»...). Споры касались всего комплекса вопросов древней истории славянского. Мои собственные поиски, в частности — в дифференцированных индоарийском и иранском аспектах, получили интересную поддержку (если опять-таки отнестись при этом *сум grano salis* к абсолютной хронологии), как мне кажется, в выступлении антрополога В. Д. Дяченко на круглом столе по этногенезу: отмечу здесь выделяемый им иллиро-фракийский и индоиранский период I тыс. до н. э. — середины I тыс. н. э. с вхождением в состав древних славян балканско-центральноевропейского компонента (карпатский и понтийский антропологические типы), а также степных — древнеиндийского (индо-днепровского длинноголового мезогнатного типа) и перекрывшего его иранского компонента.

Мифы сравнительного языкознания и истории культуры

Однако для того, чтобы полнее использовать свои преимущества в деле исторической и этнической реконструкции, языкознанию необходимо еще много работать над совершенствованием своих методов и над преодолением ряда своих постулатов, которые стали привычными (порой — по причине ассоциации с методами, одно время считавшимися передовыми в науке), оставаясь недоказуемыми. Речь идет о мифах сравнительного и общего языкознания, впрочем, как и о мифах истории культуры. Наука остро нуждается в их демифологизации, т. е. в преодолении традиционных прямолинейных заключений в исследованиях. Здесь затронуты, бесспорно, интересы целого круга дисциплин, изучающих историю культуры, поэтому обмен опытом должен быть обоюдным (примеры — ниже), вместе с тем серьезный методологический урок негативного влияния идеи изоморфизма разных уровней (языка) должен исходить от языкознания. На-

помню такие мифы сравнительного языкознания, как (1) «додиалектное» единство каждого праязыка, (2) «небольшая прародина» («Keimzelle»), (3) одновременность появления этноса и этнонима, (4) балто-славянские отношения (любые) как *terminus post quem* для славянской языковой эволюции. Сюда же, далее, надо отнести порожденный современными направлениями языкознания миф о существовании «совершенных систем». Против последнего уже раздаются голоса критики с разных сторон, причем указывалось, что и структурализм, и генеративизм повинны в конструировании «совершенных систем», которые по самой своей природе «не подлежат сравнению» (*are incomparable*), тогда как именно сравнимость — пробный камень всякого исторического анализа [19]. Это, конечно, верно, но еще важнее то, что конструируемые «совершенные системы» (пример: «непротиворечивые модели» праславянского или праиндоевропейского языка) противоречат главному мотиву языковой эволюции, каковым является асимметрия.

Против прямолинейных заключений

Потребность проверки и преодоления прямолинейных заключений в историческом языкознании ощущается в настоящее время, хотя, возможно, далеко не всеми и не во всех случаях, где в этом назрела необходимость. К тому же, это отнюдь не простое дело, поскольку преодолевать при этом приходится иногда эффектные построения авторитетных исследователей. Например, Семереньи удалось показать неверность одного такого эффективного положения Мейе (1912 г.) об исключительно ускоренном (быстрее романского) развитии и упадке среднеиранского языка в условиях его крайнего распространения в мировой державе ахеменидов. Критически проверив реальные данные, Семереньи получил фактически иную картину: интенсивное развитие вплоть до упадка языка имело место в сердце тогдашнего иранского пространства — на территории современного Ирана, а на перифериях Севера и Востока был отмечен характерный консерватизм [20]. Запомним этот пример, который лишний раз показывает, что политическая и территориальная экспансия этноса не синонимична ускоренному развитию в языковом плане. По крайней мере столь же неоправданным является очень живучее убеждение, что — *vice versa* — оседлость и малая территориальная подвижность этноса находит выражение в неразвитости, архаичности его языка. Эту концепцию может оправдать только все еще недостаточное развитие этнолингвистики и социоллингвистики, особенно применительно к ранним периодам эволюции этносов и языков. Так, по нашему мнению, в указанном выше смысле неоправданной прямолинейности уязвимо заключение авторов теории ближневосточной прародины индоевропейцев: «Смещение общеанатолийского по отношению к первоначальному ареалу распространения общейиндоевропейского языка было сравнительно небольшим. Этим и объясняется исключительная архаичность анатолийских языков...» [21]. Для нас совершенно очевидно, что из этой же самой посылки — а р х а и ч н о с т ь хеттского и других анатолийских языков — может быть с гораздо большим основанием сделан вывод о дальней миграции, приведшей эти языки на п е р и ф е р и ю некоего ареала...

Некоторые методологические предостережения сходного характера можно почерпнуть и из опыта смежных наук исторического цикла. Так, например, в очевидную для всех связь, которая существует между строительством укреплений и военным временем, чешские археологи Шимек и Неуступный внесли существенную поправку: «строительство укреплённых поселений производилось не во времена битв, а наоборот — в период спокойствия и стабилизации» [22]. Другой пример: европейская карта бронзового века обычно представляется археологу расчерченной миграциями и походами, которые как будто документируются этнически характерной керамической посудой. Не зная подлинных имен этих этносов, археолог привычно обозначает их *Schnurkeramiker*, *schnurowsy*, носители культуры шнуровой керамики и т. д. Шнуровая керамика встречается

от Северного Причерноморья до Скандинавии, но для того, чтобы совершать такие дальние походы и миграции, надо отличаться особой воинственностью и подвижностью, короче говоря, надо вести кочевую жизнь, а нам указывают, с другой стороны, что кочевой образ жизни и производство керамики плохо совместимы по причине хрупкости глиняной посуды! [23]. Поэтому время от времени раздаются голоса, рекомендующие видеть в распространении изделий именно распространение изделий (через торговлю, заимствование, культурное влияние, моду и т. д.), а не делать поспешных выводов о распространении людей [24, 25]. К сожалению, и сейчас авторы этих здравых суждений остаются пока в меньшинстве, и до сих пор говорят больше о нашествии носителей лужицкой культуры на балтийскую территорию с Запада [1, с. 98; 26], чем о лужицком культурном влиянии [27, с. 48]. Таким образом, культурные влияния, культурный обмен, столь важный для человечества во все времена, скорее преуменьшаются, отчего картина древних этнических отношений невольно подвергается искажению. Предубеждения коснулись и ассортимента предметов культурного обмена, того, что в специальной литературе именуется «импортами». Недооценка ведет к излишней категоричности суждений, которые оказываются рискованными, как, например, утверждение М. Гимбутас: «Burial practices are not loaned» [28, с. 293]. Однако все-таки мода и культурные течения не обходят стороной и погребальный ритуал, который также может заимствоваться от этноса к этносу [29].

Статичность популярных концепций социальной и этнической истории индоевропейцев

Определенной критики заслуживают некоторые влиятельные концепции, стройность которых достигается ценой их собственной статичности. Известно, например, каким широким признанием пользуется теория трехчастной социальной организации и соответствующей ей идеологии у индоевропейцев (Дюмезиль). Можно сказать, что эта трехчастность, трехклассовость (жрецы, воины, скотоводы) имплицитно называется названным учением уже у ранних индоевропейцев, хотя в такой общей и абстрактной форме это сомнительно и обращает на себя внимание отсутствием идеи эволюции. Хотя теория Дюмезиля не нова и насчитывает не один десяток лет, современная критика ее, можно сказать, только еще делает первые осторожные шаги. Ср. сомнения, высказанные Поломе по поводу реальности существования упомянутой четкой социальной дифференциации уже у ранних индоевропейцев IV—III тыс. до н. э., если известно даже о древних германцах по письменным источникам, т. е. около начала н. э., что они жили преимущественно бесклассовым обществом, далее — что у них имелись не жрецы, а жрицы, что само развитие общественных отношений могло быть неравномерным у германцев и прочих индоевропейцев, ср. сюда же полное отсутствие трехфункциональной социальной модели у анатолийских индоевропейцев. Наконец, и это важно как самый серьезный исторический корректив к трехчастной социальной теории — для ряда индоевропейских культур необходимо считаться с наличием четвертого класса — ремесленников [30]. О ранней специализации ремесленников по обработке дерева, камня, глины, стекла, янтаря и металла у индоевропейцев бронзового века см. [31, с. 9—10], причем, о выделении ремесленников говорят как о феномене неолита, во всяком случае — с неолитической революцией, ознаменовавшейся зарождением производящей экономики [32, с. 17—18]. Совершенно очевидно, что вопрос о «диалектологии» индоевропейской социальной организации и культуры еще только предстоит поставить в полный рост. Думается, что со временем крайняя неразработанность хронологии в этой области будет более определенно оценена как неудовлетворительная. Так, неучет хронологии феномена дает повод для ложной этнической атрибуции; например, трудно вместе с Гимбутас [33, с. 7] противопоставлять социально нерасчлененное население «Древней Европы» V тыс. до н. э. (по Гимбутас — неиндоевропейское) социально якобы дифференцированным пришлым индоевропейцам,

потому что для столь раннего времени (V тыс. до н. э.) трудно поверить в факт социальной дифференциации последних на фоне постулируемой автором бесклассовости более цивилизованной «доиндоевропейской» Древней Европы, а также в свете того, что известно о реликтах бесклассовости и социального синкретизма у самих индоевропейцев даже в несравненно более поздние эпохи, по данным письменной истории (выше). Имеет место и негативное давление индоевропейской трехчастной схемы, проявляющееся в готовности некоторых исследователей перекодировать в терминах этой теории весьма различные этнические отношения, особенно если в последних фигурируют т р и племена или т р и части этноса, как, например, делается в одном недавнем опыте с тремя русскими центрами — Куяба, Славана, Артания — в арабской традиции X в.

Еще один яркий пример статичной концепции, парадоксальный ввиду внешней динамичности самой концепции, — это теория вторжения в Европу извне (с Востока) индоевропейской курганной культуры. Американский археолог литовского происхождения, Мария Гимбутас, в ряде своих публикаций 60—80-х гг. выдвинула теорию, согласно которой Европа не является прародиной носителей индоевропейских языков, которые, будучи всадниками и скотоводами, вселились сюда в результате ряда вторжений («волн») со второй половины V до начала III тыс. до н. э. Индоевропейцы были степными скотоводами с характерным курганным погребальным обрядом, патриархальной организацией, воинственностью и даже «безразличием к искусству» (*indifferent to art*). Их культура представляется Гимбутас противоположной культуре неиндоевропейских обитателей «Древней Европы» (термин в этом употреблении также принадлежит Гимбутас) с их оседлым бытом, матриархатом, миролюбием, высоким уровнем ремесла, искусства и всей цивилизации, хотя, при всем этом высоком уровне развития и проистекающего от него богатства среднего класса (*a rich middle class*), доиндоевропейцы будто бы не имели антагонистических классов. Их культура легла субстратом в основание культуры позднейших индоевропейских завоевателей [34, 28, 33, *passim*]. Последователи Гимбутас называют индоевропейское расселение как «1600 лет курганной экспансии» [7, с. 102]. Одна из «курганных волн» (II, конец IV тыс. до н. э.) якобы достигла Восточного Средиземноморья [35]. Концепция Гимбутас получила широкое распространение, причем среди языковедов — не меньше, чем среди археологов [36, с. 122]. Сама исследовательница настроена очень решительно и не видит иной альтернативы для решения индоевропейской проблемы: «Если курганная традиция не тождественна с индоевропейской прародиной, чего тогда мы можем ожидать от археологии в решении вопроса пространственной и временной базы праиндоевропейского?» [28, с. 294]. Однако невозможность иных серьезных точек зрения явно преувеличена у Гимбутас. Курганная традиция IV тыс. до н. э. тянется в Сибири до верхнего Енисея [28, с. 295], что порождает сомнения в ее тождестве с индоевропейской традицией, больше того — вызывает резко критическую реакцию со стороны некоторых археологов, например, Килиана [27, с. 28], который прямо говорит, что выведение индоевропейских племен из-за Нижней Волги и из Казахстана элементарно противоречит европеоидной антропологической характеристике. Отождествление индоевропейцев и позднелеолитической курганной культуры встретило отрицательное отношение и у других археологов, которые считают, что все дело — в точности абсолютных датировок и что якобы производные культуры в Европе практически оказываются одновременно с южнорусскими ямными погребениями, а не более поздними и не производными от последних [31, с. 6, 7]. Далее английские археологи Коулз и Хардинг высказывают также свои сомнения в правомерности чрезмерного обобщения одной культурной черты — типа погребений и использования ее как показателя расового родства; они допускают, что погребальный курган — это своеобразная мода эпохи, а не признак какого-то «курганного народа», тем более, что курганные погребения широко известны «во времени и пространстве». В целом концепция смены населения и прибытия народа курганной культуры обязательно с Восто-

ка представляется этим авторам «квази-исторической интерпретацией» [31, с. 102]. Они располагают и конкретным материалом, свидетельствующим, что как раз Восток в существенных моментах сохранял значение архаической периферии, а не источника культурной инновации; так, в то время, когда на территории Западной Украины уже встречается культура курганных погребений в сочетании с культурой шаровидных амфор и шнуровой керамики, на Нижнем Днепре и в задонских степях все еще функционирует культура ямных погребений [31, с. 117]. Но наиболее серьезный критический анализ концепции М. Гимбутас с отрицательным результатом дал немецкий археолог А. Хойслер (ГДР), который пришел к выводу, что погребальные курганы архаических культур Греции не связаны с курганами Северного Причерноморья и допускают локальное объяснение, что подтверждается также косвенно [37]. Так же обстоятельно разбирает и затем отвергает он «курганизацию» извне других районов, показывая, вслед за другими исследователями, автохтонность курганной культуры в Восточной Европе, ее вырастание из культур местных охотников и рыболовов; шнуровая керамика, известная в Центральной Европе и Скандинавии, возникла отнюдь не в ходе экспансии скотоводов ямной культуры с Востока, а тем более — целого ряда миграций (вариант: трех волн), что не находит и антропологических подтверждений для разбираемых М. Гимбутас неолитических культур (например, на территории Венгрии), во время чего Гимбутас прибегает к явно произвольным социальным интерпретациям (проверка не обнаруживает там признаков социального расслоения и господствующего положения воинов и вообще не находит связи этих культур с севернопричерноморскими). Наблюдаемые в европейских культурах изменения домостроительства, положения мужчин представляют собой «чисто стадийное явление, итог определенных социально-экономических перемен, которые объяснимы и без нашествий из восточных степей» [36, с. 126]. Хойслер акцентирует возможную эндемичность культур и культурных явлений; он выступает против воззрений на одомашнивание лошади, шнуровую керамику и культуру боевых топоров как обязательный индоевропейский культурный набор. Выводы Хойслера немаловажны для решения индоевропейской проблемы: он считает, что его анализ показал отсутствие оснований для выведения неолитических или раннебронзовых культур Центральной и Северной Европы из Восточной Европы (а также из Западной Сибири или Средней Азии); в Европе имело место непрерывное развитие культуры и населения («eine kontinuierliche Entwicklung der Kultur und Bevölkerung») вплоть до исторически засвидетельствованных индоевропейских культур и языков [36, с. 139]. К сожалению, среди лингвистов не удалось заметить особого желания детально критически разобраться в теории Гимбутас, отдельные краткие критические реплики [38] фигурируют на фоне преимущественно положительного приема. Но, в конце концов, критика этой теории изнутри археологии, пожалуй, для нас не менее важна, поэтому мы изложили выше аргументы Хойслера и других археологов. Все говорит о том, что в концепции Гимбутас имеет место феноменальная недооценка внутренних стадийных потенциалов (см. выше о статичности этой концепции).

Непрерывная эволюция индоевропейской Европы

Альтернатива теории вторичной «курганизации» — индоевропеизации Европы существует; она представлена теориями, утверждающими на основе различных данных возможность непрерывной эволюции индоевропейских этносов и их языков в Европе. Из числа сторонников этой концепции может быть назван испанский археолог, каталонец по происхождению, П. Боск-Жимпéра, работавший в Мексике. Он указывал на возможность возводить зачатки индоевропейского этноса, при всех мыслимых оговорках, к мезолитическим группам населения Европы; о начальных группах индоевропейцев можно более уверенно говорить для неолита, конкретно — V тыс. до н. э. Ареалом (одним из ареалов) этого раннеин-

доевропейского группообразования Боск-Жимпера считал территорию Чехословакии и примыкающие районы, иными словами — район дунайской культуры [39, *passim*]. Эти выводы звучат довольно обобщенно, но следует согласиться с их главной идеей. Неслучайно среднедунайские районы привлекли и наше внимание. Вряд ли можно считать, что при этом смешиваются собственно индоевропейские древности и доиндоевропейские культурно-этнические субстраты, как их понимает, например, Гимбутас. Наблюдаемая ниже известная концентричность культурных и лингвистических ареалов разных эпох в Центральной Европе говорит скорее о том, что здесь действовал механизм преемственного развития с устоявшимся центром и собственными перифериями. Всего этого, пожалуй, не было бы при наложении чужих пришельцев на чуждый субстрат, когда складываются случайные по своему характеру отношения, если принимать хотя бы постулируемую Гимбутас противоположность укладов (мирные оседлые жители — воинственные завоеватели-кочевники), при которой, как мы знаем из аналогий разных времен, должны бы были преобладать ограбление и уничтожение покоренной культуры, а не нормально функционирующая преемственность, к тому же обнаруживающая свой древний ареал с центром и периферией.

Отмеченный выше как недостаток статизм концепции (или концепций), неразработанность представлений о собственной внутренней стадийности эволюции и ее временной глубине толкают исследователей на поиски внешних импульсов, примером чего может послужить вопрос о зарождении культурного коневодства. Не рассматривая его здесь подробно, отметим лишь, что некоторые авторы допускают и для него разумную альтернативу своеобразного параллельного полицентризма возникновения, причем не в одних только степных районах (Хойслер), а другие настаивают на однозначном решении и причем обязательно на импорте извне, ср. предположение о заимствовании колесной повозки с Востока на Запад в связи с тем, что одним из очагов распространения колесных повозок была протоиндская культура III тыс. до н. э. [40]. Но в древнеевропейском культурном ареале, на Балканах (Карапово) известны неолитические глиняные модели колеса V тыс. до н. э. [33, с. 7], и нет серьезных оснований отрицать здесь наличие своего древнего очага домашнего коневодства и строительства колесных повозок, а также вероятную причастность к этому индоевропейцев, ср. [41]. Для нас знаменательно указание о заселении индоевропейцами, уже имевшими при себе лошадей, Анатолии, не знакомой прежде с этим животным, причем заселение шло с Запада, очевидно, из районов древнего домашнего освоения лошади, каковыми считаются не только причерноморские степи, но и неолитическая езеровская культура в Болгарии с IV тыс. до н. э. [42]. И все же не последний штрих в картину древней культуры и истории вносит также здесь язык, который ставляет задуматься над степенью адекватности того стереотипного образа раннего индоевропейца — всадника и скотовода, который, кажется, основательно уже поселился на страницах многих научных исследований. Конь помогает этому реконструированному индоевропейцу преодолевать замечательные расстояния на картах миграций, приложенных к этим исследованиям (некоторые сомнения по поводу реальности всех этих миграций см. отчасти выше). Культ коня, как и солнечного неба, кажется ученым неотделимым от духовного мира индоевропейца. Однако, если в греческих личных собственных именах классической эпохи (Гомер) насчитывают около 230 сложных имен, включающих ἵππος «лошадь, конь», при 19 именах с компонентом βοῦς «бык» и только двух — с αἴξ «коза», то в более древней — раннегреческой микенской антропонимии перед нами предстает обратная картина: чаще всего (6 раз) встречаются имена с Aigi- «коза», одно имя — на g^uow- (XV в. до н. э.), и нет ни одного имени, которое наверняка включало бы название лошади [43]. Понятно, что микенский (II тыс. до н. э.) ближе к праиндоевропейскому, и это отчасти наводит на подозрение, что упомянутая выше стереотипная культурная реконструкция содержит некоторые преувеличения. По этому случаю я нахожу нужным процитировать слова из своей книги 1960 г.: «Что каса-

ется великих миграций III тысячелетия до н. э., то основной тягловой силой в их осуществлении были быки, а не лошади, хотя, может быть, в глазах отдельных ученых это и наносит ущерб блистательности индоевропейской экспансии» [44].

К вопросу об индоевропейском консонантизме

Касаясь некоторых особых тем с вынужденной краткостью, я не стану специально разбирать теорию переднеазиатской индоевропейской прародины Гамкрелидзе—Иванова, спор о которой развергивается в литературе, полагая, что сообщаемые мной наблюдения и материалы могут быть использованы в дискуссии. Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. В. Иванов предприняли также полную ревизию праиндоевропейского консонантизма, где на месте традиционных чистых звонких согласных фигурируют глоттализированные и в целом отношения и состав согласных напоминают языки с передвижением согласных (германский, армянский). Можно сказать, что именно эта глава праиндоевропейской реконструкции Гамкрелидзе—Иванова приобрела наибольшую популярность, ср. [45]. И этот вопрос как бы остается в стороне от избранного здесь аспекта праславянского и предславянского индоевропейского, что обязывает нас к краткости, хотя вероятность компенсирующего отношения между состояниями консонантизма и вокализма (см. у нас далее о последнем) и потенциальная важность учета очень многого из праиндоевропейского для лучшего понимания собственно славянской эволюции не позволяют полностью обойти этот вопрос. Авторы ревизии индоевропейского консонантизма в значительной мере основываются на сопоставительной типологии, в том числе неиндоевропейской. Нельзя не отметить при этом, что не кто иной, как П. Хоппер, пришедший к аналогичному пересмотру индоевропейского консонантизма независимо от наших авторов, питает до последнего времени сомнения как раз в типологической стороне этой концепции, поскольку смена глоттальных обычными звонкими смычными на всей индоевропейской территории типологически уникальна; ожидалось бы (Гринберг) *glottalized* → *unvoiced* [46]. Правда, американский ученый все-таки отыскивает такой случай в северо-западном кавказском — кабардинском, вернее, отдельных его диалектах, где глоттальные смычные могут переходить в звонкие, но малость этой типологической базы обращает на себя наше внимание. Попытки найти эти повсюду утраченные глоттальные в индоевропейском дали пока небольшие результаты: обнаруженные в индоарийском языке синдхи, эти глоттальные, оказывается, не отличаются индийской графикой от чистых звонких и, возможно, имеют поздний фонематический характер [47, 18]. Поэтому осторожные исследователи по-прежнему избегают включать глоттализированные согласные в число известных индоевропейских фонологических особенностей и, кроме того, принимают во внимание крайнюю лабильность именно германского и армянского консонантизма (—языков, в которых традиционно предполагается передвижение согласных), делающую проблематичным сохранение первоначального состояния именно в этих языках [48, *passim*]. Симптоматично, например, мнение специалистов, что «в Скандинавии, и прежде всего — в Дании, и сейчас происходит передвижение согласных» [49]. Такой поныне синхронно наблюдаемый и живой статус передвижения согласных в германских языках серьезно ущемляет концепцию индоевропейской архаичности этого явления. Недавно было также высказано мнение, что праиндоевропейско-пракартвельские контакты уже отражают наличие праиндоевропейского звонкого ряда *b, d, g^w, ġ* [50].

Семитское влияние на индоиранский вокализм?

Сосредоточившись на консонантизме, Гамкрелидзе и Иванов касаются индоевропейского вокализма только в одном важном случае — слиянии и.-е. *e — o — a* в одном гласном *a* индоиранских языков. Здесь их ближ-

невосточной теории импонирует гипотеза Семереньи о перестройке индоиранского вокализма из классического индоевропейского под семитским влиянием после 2000 г. до н. э. на Ближнем Востоке [21, с. 19; 45, *passim*; 52]. С семитским происхождением унифицированного индоиранского вокализма решительно нельзя согласиться. По версии Семереньи, этому влиянию индоиранцы подвергались порознь — сначала митанийские индоарийцы, позднее — иранцы, что само по себе делает мысль методологически уязвимой: вместо сложного и сомнительного предположения, что и те, и другие, прибывавшие, очевидно, разными и разновременными потоками в Переднюю Азию с Севера, проходили точно одну и ту же обработку вокализма, уже априори проще и убедительнее считать, что ввиду единообразия этой перестройки индоарийский и иранский уже провели ее прежде, чем появиться в Передней Азии. Ни лингвогеографически, ни хронологически, ни, как увидим далее, типологически, гипотеза Семереньи не выдерживает критики. Особенно важны здесь севернопричерноморские свидетельства: кроме иранских — скифских примеров слияния $e - o - a \rightarrow a$, которые легко почерпнуть в «Словаре скифских слов» В. И. Абаева (никто ведь не станет всерьез утверждать, что скифы принесли с собой этот феномен как семитское влияние, вернувшись из своего двадцативосьмилетнего похода в Азию), не менее красноречив индоарийский материал к северу от Черного моря. Допуская, что он все еще не очень широко известен в науке, назову по крайней мере несколько примеров из своей картотеки северопонтийских *indoarica*, выбирая по возможности такие случаи, где, не прибегая к реконструкции, по одной только античной письменной передаче севернопричерноморских *indoarica*, а также их звуковому соответствию древнеиндийским именам и апеллативам можно документировать наличие $a \leftarrow e - o - a$ без какой бы то ни было связи с семитской Передней Азией: *Asandi* ~ др.-инд. *āsandī*; *Βουτοῦατος* ~ др.-инд. *bhūta-nātha*; *Δανδάκη* ~ др.-инд. *Dandaka*; *Καδουίδας* ~ др.-инд. *kovidā*; *Κοροχονδάκη* др.-инд. *dhāman*; *Μαχαδᾶα* ~ др.-инд. *mahā-deva*; *Ἀνάχαρις* ~ др.-инд. *maha*; *rṣi*; *Πάλακος* ~ др.-инд. *Pālaka*; *Σάσα* ~ др.-инд. *śaśa*; *Σουάρνοι* ~ др.-инд. *suvárṇa*; *Τάξαις* ~ др.-инд. *takṣakā*; *Τιργαταῶ* ~ индоар. (Алалах) *Tirgutawiya*. Даже при несовершенстве античной письменной фиксации бросается в глаза значительная частотность гласного a в этих примерах, где есть продолжения и.-е. e (**dhē*-, **meǵh*-, **tek̑s*-), не говоря об и.-е. o . Есть и индоарийская изоглосса, охватывающая Северное Причерноморье (Τιργαταῶ) и митанийский индоарийский (Τιργутawiya, из Алалаха), но допускающая только интерпретацию как занесенная с Севера в готовом виде, с отражением отглагольного прилагательного форманта и.-е. *-teu-* как индоар. *-tav-*. Еще менее правомочна здесь семитская версия генезиса индоир. $a \leftarrow e - o - a$ у Гамкрелидзе — Иванова, поскольку иначе пришлось бы принимать это явление южнее Кавказа, в арийских диалектах, предположительно обитавших в искомой там индоевропейской прародине в IV—III тыс. до н. э. [21, с. 21], откуда они затем мигрировали в Северное Причерноморье с другими индоевропейскими диалектами, вокализм которых почему-то не испытал названного семитского влияния и продолжал сохраняться в виде $e - o - a$ или $e - a$.

Весьма перспективна в этом отношении проблема влияния индоарийских диалектов на севернокавказские языки. Вероятность индоарийских лексических заимствований в этих языках после работ Трубачева допускает Г. А. Климов [53, с. 172]. Так, например, адыг. *шы* «лошадь», абх.-абаз. *а-чъы/чъы*, убух. *чы* «то же» правомерно связывать с др.-инд. *aśva* «то же», ср. [54, с. 88; иваче ср. 55, т. II, с. 141], при этом существенно не только наличие $e > a$, как в обеих индоиранских ветвях, но и индоарийский шипящий рефлекс. и.-е. \tilde{k} в **ek̑o*-, в отличие от иран. *asva*-, *aspa*-, *assa*-. Аналогичную дифференциальную характеристику можно увидеть в адыг. *ажэ/ачъэ* «козел-производитель», объяснявшемся и ранее как заимствование из индоевропейского, ср. др.-инд. *ajā*-, пехл. *azak*

«коза», см., вслед за Дюмезилем, [49, т. I, с. 58], но мы здесь отметим, кроме индоиран. *a*, специфически индоарийский (*j*), а не иранский (*z*) консонантизм.

О русском аканье

Упрощение вокализма $e - o - a \rightarrow a$, несомненно, совершилось в Европе и — главное — без затруднений может быть объяснено за счет внутренних средств индоевропейских диалектов. Семереньи заблуждался, полагая, вслед за Хаммерихом, что переход $e > a$ уникален, лишен аналогии в индоевропейском и что внутренние, структурные аргументы исчерпаны [51, с. 15]. Наука давно располагает данными, позволяющими точно локализовать этот переход как эндемичный в Центральной и Восточной Европе. При этом достаточно сослаться на наличие фонологически тождественных случаев открытого (краткого) $e = \ddot{a}$ (коррелирующего с закрытым — долгим — \bar{e}) в таких разных языках, как литовский и близкий для Семереньи венгерский язык. Далее, сюда имеет самое прямое отношение феномен русского яканья, т. е. $e = 'a$ в безударном положении. Поскольку понятна органическая связь последнего явления с феноменом аканья, т. е. $o = a$ в безударной позиции (русский, белорусский), реальность и органичность перехода $e > a$ станут ясными без дальнейших доказательств и без внешнего импульса вроде семитского. Если взвесить, к тому же, серьезное вероятие, что краткое слав. *e*, как и *o*, наоборот, возможно, сменило предшествующее *a* в определенных позициях, например, по концении Вайяна [56, с. 108 и сл.], ср. опыты записи праслав. $e - o$ как $\ddot{a} - a$ у Мареша (правильнее, видимо, было бы $'a - a$), то постепенно начнет вырисовываться подлинная грандиозная картина циклической эволюции вокализма индоевропейских диалектов Восточной и Центральной Европы, эволюции, в которой переходы $e > a$ получают смысл нормальных рецидивов (обратных переходов) всякого развития. Существенно, что славянский и его диалекты играют в этой общей картине не последнюю роль и, кажется, помогают понять не одни лишь славянские факты. Я имею в виду то, что в ряде русских (южновеликорусских) диалектов практически функционирует — в безударных позициях — вокализм «индоиранского» типа $a/'a$ на месте $e - o$, но из этого равным счетом ничего не следует ни о возможности индоиранского, ни тем более — семитского влияния, ни, разумеется, о проживании предпраносителей наших диалектов на Ближнем Востоке. Я упомянул выше о рецидивах $e > a$ не случайно, но с желанием привлечь внимание к этим всплывающим на поверхность потока эволюции реликтам древних данностей. Точно так же мы, например, наблюдаем вторичную тенденцию передней артикуляции иран. $a >$ осет. \ddot{x} , \ddot{a} в осет. *xumællæg* «хмель» и в его отражении в слав. **xъmelъ*, иначе было бы **xъmolъ* из иран., осет. **xumal-*, см. [57]. Все это вместе говорит об исконности и эндемичности описываемого феномена для Центральной и Восточной Европы.

При обсуждении проблемы на съезде славистов в Киеве мне возражали (К. В. Горшкова), что мое сближение южновеликорусского аканья и унификации индоиранского вокализма носит панхронический характер, а также, что существуют изоглоссная, типологическая, историческая интерпретации аканья, которое, к тому же, принято считать поздним явлением. В мои задачи не входило обозрение русистской литературы по аканью, кроме того, я намеренно затронул аспекты, обычно оставляемые в русистике без внимания. Верно, что аканье фиксируется в относительно поздние века, но это еще ничего не говорит о его генезисе. Симптоматичны поэтому поиски истоков аканья в балтийском субстрате, имея в виду слияние и.-е. *o*, *a* в балт. *a*. Как бы мы ни относились к этому решению, одно это уже углубляет потенциально хронологию поисков на несколько столетий. Ясно, что нельзя смешивать случаи первой фиксации аканья на письме и возможное за рождением этого явления в языке, во всяком случае называть такую интерпретацию исторической мы не вправе. История и этого явления начинается раньше его письменной истории. Не будут удовлетворительны также изоглоссная и типологическая интер-

претации, если они замыкаются в восточнославянском ареале. Недаром новые подходы славистики к проблеме аканья формулируются как «Общеславянское значение проблемы аканья», как названа известная книга В. Георгиева, В. К. Журавлева, С. Стойкова, Ф. П. Филина, вышедшая в Софии в 1968 году. Слависты указывают параллели русскому аканью на перифериях славянского ареала (родопское аканье болгарского, словенских диалектов), а это подсказывает мысль, что и русское аканье есть периферийное явление (в терминах лингвистической географии), т. е., по-видимому, явление архаическое. Вообще целый ряд восточнославянских языковых (фонетических) явлений целесообразно рассматривать как периферийные для всего славянского ареала и архаические. Нужно допустить, что истоки аканья уходят в древность, причем нет веских причин видеть в нем действие балтийского или других субстратов. Исследование генезиса явления дописменной эпохи требует типологического подхода, а типология вообще дает нам право на известную панхронию. В этих условиях значительная дистанция по временной вертикали между русским аканьем и индоиранским преобразованием вокализма должна не шокировать, а, напротив, располагать к размышлению (на реплику В. Н. Чекмана — в дискуссии круглого стола — о том, что данные об аканье еще не готовы для использования в исследованиях по этногенезу, пришлось ответить, что в принципе вряд ли наступит время, когда анализ той или иной важной проблемы будет полностью завершен, поэтому нельзя откладывать синтез до столь неопределенного будущего).

Вообще не исключено, что частотность краткого *a* в древнем индоевропейском была гораздо выше, чем обычно думают, к этому подводят некоторые новые продуктивные и смелые разработки генезиса индоевропейского вокализма [58, *passim*; 59, с. 36—38]. Неапофоническое и фонологически не дифференцированное *a* нам представляется реальной ипостасью древнего неопределенного гласного призвукa Λ , постулируемого А. С. Мельничуком до начала всякой апофонии. Разумеется, регулярная *e/o*-апофония — продукт вторичного развития, вытеснившего и.-е. *a* на вторичные (экспрессивные и т. п.) функции. Но эта эволюция никогда не была прямой и полной, она знала и знает возвраты, по которым нужно уметь читать ее прошлое. Мы здесь касаемся только наиболее архаичного — краткостного (*a* у восточных славян — *mutatis mutandis* — безударного) вокализма, оставляя в стороне долгие гласные и возможное участие в них ларингальных. В целом же рассмотрение вокалических процессов в тесной связи с консонантными было бы весьма желательно и притом — в большей степени, чем это делалось в нашей науке до сих пор.

(Окончание следует)

ЛИТЕРАТУРА

1. *Lehr-Splawiński T.* O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian, Poznań, 1946.
2. *Moszyński K.* Pierwotny zasięg języka prasłowiańskiego. Wrocław — Kraków, 1957.
3. *Трубачев О. Н.* Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики. — ВЯ, 1982, № 4.
4. *Трубачев О. Н.* Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики. — ВЯ, 1982, № 5.
5. *Королюк В. Д.* К исследованиям в области этногенеза славян и восточных романцев. — В кн.: Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976, с. 25.
6. *Jazdzewski K.* Etnogeneza Słowian. — In: Słownik starożytności słowiańskich. T. I. Wrocław — Warszawa — Kraków, 1961, s. 456.
7. *Alexander S. M.* Was there an Indo-European art? — In: The Indo-Europeans in the Fourth and Third millenia. Ed. by Polomé E. C. Ann Arbor, 1982 (со ссылкой на Мэллори).
8. *Кузаренко Ю. В.* Полесье и его место в процессе этногенеза славян. — In: I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej. Warszawa, 14—18. IX. 1965. Wrocław — Warszawa — Kraków, 1968, s. 245.
9. *Kurnatowska Z.* [Dyskusja] — In: Etnogeneza i topogeneza Słowian. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Komisję Sławistyczną przy Oddziale PAN w Poznaniu w dniach 8—9. XII. 1978. Warszawa — Poznań, 1980.

10. Forstinger R. Rec.: *Győrffy Gy., Hanák P., Makkai L. és Móczy A.* A Kárpát-medence népei a honfoglalás előtt. Budapest, 1979.—Zpravodaj Mistopisné komise CSAN, 1981, ročn. XXII, č. 1—2, S. 121.
11. Топоров В. Н. Новейшие работы в области изучения балто-славянских языковых отношений (библиографический обзор). — ВСЯ, 1958, вып. 3, с. 145—146.
12. Hensel W. La communauté culturelle archéologique balto-slave.— In: I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej, p. 81.
13. Chropovský B.—Salkovský P. Novšie archeologické poznatky k riešeniu etnogenézy Slovanov.— In: Československá slavistika, Praha, 1983, s. 152.
14. Brozović D. O mjestu praslavenskoga jezika u indoevropskom jezičnom svijetu.— In: Radovi [Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet — Zadar]. Razdio filoloških Znanosti. Sv. 21 (42), Zadar, 1983, s. 12.
15. Leeming H. Some problems in comparative Slavonic lexicology.— In: The Slavonic and East European review, 1983, v. 61, N 1, p. 38.
16. Ванчаас А. П. Проблема древнейших балто-славянских языковых отношений в свете балтийских гидронимических лексем. Препринт. Вильнюс, 1983, с. 23—24.
17. Мартынов В. В. Становление праславянского языка по данным славяно-иноязычных контактов. Минск, 1982, passim.
18. Откупщиков Ю. В. Балтийский и славянский.— В кн.: Сравнительно-типологические исследования славянских языков и литератур. К IX Международному съезду славистов. Сб. статей. Л., 1983, с. 53 и сл.
19. Markey T. L. Introduction.— In: On dating phonological change. A miscellany of articles. Ed. by Markey T. L. Ann Arbor, 1978, p. VIII—IX.
20. Szemerényi O. Sprachverfall und Sprachtod, besonders im Lichte ind germanischer Sprachen.— In: Essays in historical linguistics in memory of J. A. Kerns. Ed. by Arbeitman Y. L. and A. R. Bombard (= Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. IV), s. 296 и сл., особ. s. 304.
21. Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Миграции племен — носителей индоевропейских диалектов — с первоначальной территории расселения на Ближнем Востоке в исторические места их обитания в Евразии.— ВДИ, 1981, № 2.
22. Neustupný J. A propos de la naissance des enceintes fortifiées des Slaves tcheques.— In: Rapports du III^e Congrès international d'archéologie slave. Bratislava, 7—14 septembre 1975. T. 2. Bratislava, 1980, p. 313.
23. Meyer E. Die Indogermanenfrage.— In: Die Urheimat der Indogermanen. Hrsg. von Scherer A. Darmstadt, 1968, S. 260.
24. Labuda G. Udział Wenetów w etnogenezie Słowian.— In: Etnogeneza i topogeneza Słowian. Warszawa — Poznań, 1980.
25. Thomas H. L. Archaeological evidence for the migrations of the Indo-Europeans.— In: The Indo-Europeans in the Fourth and Third millennia, p. 63.
26. Мартынов В. В. Балто-славяно-иранские языковые отношения и глоттогенез славян.— В кн.: Балто-славянские исследования. 1980, М., 1981, с. 16.
27. Kilian L. Zu Herkunft und Sprache der Prußen. Bonn, 1980.
28. Gimbutas M. An archaeologist's view of PIE in 1975.— The journal of Indo-European studies, 1974, 2.
29. Winn Sh. M. M. Burial evidence and the Kurgan culture in Eastern Anatolia c. 3000 B. C.: an interpretation.— The journal of Indo-European studies, 1981, 9, p. 113.
30. Polomé E. C. Indo-European culture, with special attention to religion.— In: The Indo-Europeans in the Fourth and Third millennia, p. 162 и сл., 169.
31. Coles J. M., Harding A. F. The Bronze Age in Europe. An introduction to the prehistory of Europe c. 2.000—700 BC. London, 1979.
32. Журавлев В. К. Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. М., 1982.
33. Gimbutas M. Old Europe in the Fifth millennium B. C.: the European situation on the arrival of Indo-Europeans.— In: The Indo-Europeans in the Fourth and Third millennia.
34. Gimbutas M. Die Indoeuropäer: archäologische Probleme.— In: Die Urheimat der Indogermanen. Hrsg. von Scherer A. Darmstadt, 1968
35. Zanotti D. G. The effect of Kurgan wave two on the Eastern Mediterranean (3200—3000 B. C.) — The journal of Indo-European studies, 1981, 9, p. 275. и сл.
36. Häusler A. Zu den Beziehungen zwischen dem nordpontischen Gebiet, Südost- und Mitteleuropa im Neolithicum und in der frühen Bronzezeit und ihre Bedeutung für das indogermanische Problem.— Przegląd archeologiczny, 1981, 29.
37. Häusler A. Die Indoeuropäisierung Griechenlands nach Aussage der Grab- und Bestattungssitten.— Slovenská archeológia, 1981, XXIX, s. 61, 65.
38. Schmitt R. Proto-Indo-European culture and archeology: some critical remarks.— The journal of Indo-European studies, 1974, 2, p. 279 и сл.
39. Bosch-Gimpera P. Die Indoeuropäer. Schlussfolgerungen.— In: Die Urheimat der Indogermanen. Hrsg. von Scherer A. Darmstadt, 1968 (перевод заключения к книге 1961 г.).
40. Иванов Вяч. Вс. К этимологии некоторых миграционных культурных терминов.— В кн.: Этимология. 1980, М., 1982, с. 166.
41. Maringer J. The horse in art and ideology of Indo-European peoples.— The journal of Indo-European studies, 1981, 9, p. 177 и сл.
42. Mellaart J. Anatolia and the Indo-Europeans.— The journal of Indo-European studies, 1981, 9, p. 137.
43. Milewski T. Indoeuropejskie imiona osobowe. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1969, c. 149—150.

44. Трубачев О. Н. Происхождение названий домашних животных в славянских языках (этимологические исследования). М., 1960, с. 15.
45. Bomhard A. R. A new look at Indo-European (1).— The journal of Indo-European studies, 1981, 9, p. 334 и сл.
46. Hopper P. J. Areal typology and the Early Indo-European consonant system.— In: The Indo-Europeans in the Fourth and Third millennia, p. 130.
47. Kortlandt F. Glottalic consonants in Sindhi and Proto-Indo-European.— Иж, 1981, 23, p. 15 и сл.
48. Erhart A. Nochmals zum indoeuropäischen Konsonantismus.— Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung, 1981, 34.
49. Стеблин-Каменский М. И. Скандинавское передвижение согласных.— ВЯ, 1982, № 1, с. 48.
50. Дьяконов И. М. О прародине носителей индоевропейских диалектов. I.— ВДИ, 1982, № 3, с. 20.
51. Szemerényi O. Structuralism and substratum. Indo-Europeans and Aryans in the Ancient Near East.— Lingua, 1964, 13.
52. Szemerényi O. Language decay — the result of imperial aggrandisement? — In: Recherches de linguistique. Hommages a M. Leroy. Bruxelles [б. г., отд. отт.], p. 214.
53. Климов Г. А. Несколько картвельских индоевропеизмов.— В кн.: Этимология. 1979. М., 1981.
54. Кварция В. Е. Животноводческая (пастушеская) лексика в абхазском языке. Сухуми, 1981.
55. Шагиров А. К. Этимологический словарь адыгских (черкесских) языков: [I] А—Н. М., 1977; [II] П—Л. М., 1977.
56. Vaillant A. Grammaire comparée des langues slaves. T. I. Phonétique. Lyon — Paris, 1950.
57. Этимологический словарь славянских языков. Под ред. Трубачева О. Н. Вып. 8. М., 1981, с. 144.
58. Мельничук А. С. О генезисе индоевропейского вокализма.— ВЯ, 1979, № 5—6.
59. Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Современное состояние и проблемы. М., 1981, с. 36—38.